



УДК 821.162.1

Л. А. Мальцев, В. Г. Андрейчук

Е. АНДЖЕЕВСКИЙ И Т. БОРОВСКИЙ: ТИПОЛОГИЯ НАДЕЖДЫ

Исследуются циклы рассказов Ежи Анджеевского «Ночь» и Тадеуша Боровского «Прощание с Марией». Реконструируется художественно-философский диалог авторов о парадоксах надежды в условиях гитлеровской оккупации Польши.

140

This article examines two short story cycles – J. Andrzejewski's Night and Tadeusz Borowski's This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen – and reconstruct the authors' literary and philosophical dialogue about the paradoxes of hope in the conditions of Hitler's occupation of Poland.

Ключевые слова: Анджеевский, Боровский, надежда, отчаяние, цикл рассказов.

Key words: Andrzejewski, Borowski, hope, despair, short story cycle.

Попытка художественного ответа на вопрос, на что может надеяться человек середины XX в., подвергнутый угрозе «расчеловечивания», нашла выражение в творчестве представителей польской оккупационной и концлагерной прозы – Ежи Анджеевского (1909–1983) и Тадеуша Боровского (1922–1951). Старший из них, Анджеевский, дебютировал в межвоенный период. Он считался главой «католического течения» в польской литературе, а в период гитлеровской оккупации играл важную роль в патриотическом подполье. Литературный дебют Боровского относится к 1942 г. (поэтический сборник «Где бы ни была земля»), а его контакт с активным подпольем был ограничен. Оба писателя были решительными противниками национализма и имперской идеи «Польши от моря до моря». Анджеевскому посчастливилось избежать ареста, и остаток войны он «боролся пером против равнодушия других» [2]. Боровский в 1943 г. был вывезен в концлагерь Аушвиц, затем перевезен в Германию (лагеря Даутмерген, Дахау Аллах) и вернулся в Польшу лишь в 1946 г., имея за плечами второй – прозаический – громкий дебют (сборник «Мы были в Освенциме», написанный в соавторстве с Я. Седлецким и К. Ольшевским). Здесь пути писателей вновь сошлись – оба отдали себя служению новой Польше на литературно-публицистическом поприще. Для Боровского деятельность партийного писателя трагически завершилась самоубийством в 1951 г., а для Анджеевского продолжалась примерно до 1956 г., после чего постепенно стали усиливаться его оппозиционные настроения.

Двух этих характерных, разных, но в чем-то очень близких друг другу представителей «ночной эпохи»¹ вывел под криптонимами «Аль-

¹ Здесь мы вспоминаем образно-историософский тезис Н. А. Бердяева о делении исторического процесса на «дневные» и «ночные» эпохи [1, с. 408].



фа» и «Бета» (соответственно, Анджеевский и Боровский) Чеслав Милош в книге «Порабощенный разум». По мнению В. Я. Британишского, кроме попытки представить, «как работает мысль человека в странах народной демократии» [5], немалое значение для этой книги и ее автора имели понятия «отчаяния» и «надежды» «в их противоположности и в их неразрывном сочетании» [2].

Поистине центральной в гуманитарном сознании XX в. была категория надежды. Философы, писатели, ученые не только постигали ее природу, но и выделяли типы. Например, экзистенциалист-католик Габриэль Марсель считал надежду сознательным отказом от отчаяния как «наибольшего предательства» и «приговора самому себе». Если отчаяние, по Марселю, определяется «сознанием замкнутого времени», то есть «осознанием времени как тюрьмы», то надежда «пронзает время», она наделяется «пророческим характером». Надежда — не что иное, как «память будущего» [9, s. 55].

Однако Эрих Фромм выявляет другой тип надежды — надежды настоящего времени. Надежду как одностороннее «упование на время» [6, с. 224] Фромм называет «отчуждением надежды» и даже «замаскированными формами безнадежности и бессилия» [6, с. 226]. Чуждая фаталистической запрограммированности, надежда обладает, по его мнению, «напряженной, но еще не растроченной внутренней активностью» [6, с. 228]; она, как и вера, дает «видение настоящего, чреватого будущим» [6, с. 229]. Попытка постичь тайники человеческого подсознания приводит Фромма к парадоксальному предположению, что вербализованный оптимизм является маской человека, смирившегося с обреченностью дела его жизни, в то время как в реальности наибольший потенциал надежды могут обнаружить в себе люди, высказывающие крайне пессимистические взгляды на жизнь.

Проблема надежды стала ключевой и для польской культуры. Статья Анджеевского «О надежде» была написана в декабре 1943 г. под первоначальным названием «Наследие надежды и величия». Анджеевский выдвигает тезис о двух видах надежды: оптимистическо-утопической и трагической. В конце XVIII и на протяжении XIX в. историософским выражением надежды являлось учение о прогрессе, противопоставившее эсхатологическому представлению об окончательном пределе («*finis perfectionis nostra*») просвещенческую идею бесконечного совершенствования («*perfectibilite indefinite*») [8, s. 6]. Тоталитаризм XX в. «в другой, правда, тональности» передал «великую тоску преобразования»; «Вот уже полтора столетия Европа живет будущим... живет надеждой», — резюмирует писатель [8, s. 7]. Вторую мировую войну он называет «великой войной надежды» [8, s. 7].

«Трагическая надежда», наоборот, исходит из пессимистической констатации неспособности человека победить свою падшую природу, следовательно: «Тьма есть во всех людях». По Анджеевскому, источник надежды — в идущем из глубин подсознания отказе человека признавать свое поражение, а также в инстинктивной защитной реакции человеческой природы на боль, страдания, ужас мира. Анджеевский го-



ворит именно об этой разновидности надежды как «изначальном братстве людей», «единстве судьбы человеческой». «Другой надежды нет» [8, s. 7] — утверждает он.

«Трагическая надежда» находит себе место и в сознании Боровского. Он тоже не питает иллюзий относительно послевоенных преобразований и самой возможности преобразования людей. Оба писателя считают, что «нет никаких оснований верить в послевоенного человека» [8, s. 7]. Но пессимизм Боровского носит тотальный характер, он вбирает в себя прошлое, настоящее и будущее. По сравнению с прогнозами Анджеевского историсофский тезис Боровского сверхрадикален: «Какое чудовищное преступление все эти египетские пирамиды, храмы, греческие статуи!.. Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег!» [3]. Возможно, «сознание замкнутого времени», «времени как тюрьмы» (Марсель) [9, s. 55] является доминантой мировидения Боровского — его «каменного мира», создаваемого на протяжении всей истории, рецидивом которого (то есть вполне закономерным, симптоматичным историческим явлением) стал Освенцим.

Мировоззренческий диалог двух писателей о надежде нашел воплощение в художественной материи циклов «Ночь» Анджеевского («Noc», 1939—1946) и «Прощание с Марией» Боровского («Pożegnanie z Marią», 1947). В цикле Анджеевского «Ночь» выделяется «оккупационная трилогия»², первая часть которой относится к самому началу войны — рассказ «Перед судом» (1941), вторая часть изображает действительность Освенцима — рассказ «Поверка» (1942), а третья посвящена одному из самых мрачных событий гитлеровской оккупации Варшавы, восстанию в гетто, — повесть «Страстная неделя» (1943).

В рассказе «Перед судом» лесник Пётр оказывается в ситуации снятия «ложных покровов» в «ночную эпоху». Одержимый страхом одинокой смерти, стремясь любой ценой избежать трагического умирания в одиночестве, главный герой перед немецким судом доносит на своего друга, чтобы вместе с ним пойти на смерть. Жертва доноса [Кароль] проявляет удивительную снисходительность к Петру, прощает его и протягивает руку дружбы, и именно «рука друга» становится своеобразным символом «трагической надежды».

Кроме этой «безнадежной» надежды на существование морального императива, верность которому следует хранить, что и делает Кароль, в рассказе появляется и другой, «низший» ее тип. Он корнями уходит в животное стремление выжить, в инстинкт самосохранения. Эта надежда воплощена в Петре и является, по существу, антинадеждой («Надежда!» — подумал он [Пётр] машинально, но без уверенности, что имеет на нее право» [7, s. 22]).

В рассказе «Поверка» Стась Карбовский и актер Трояновский воплощают те же два типа надежды. Актер, как и Кароль, прощает Стасю

² Подробный анализ «оккупационной трилогии» см.: [4].



слабость и «потерю себя», доказывая делом, что человек человеку может оказаться не волком, а другом, способным «не противиться злу насильем», то есть жить по толстовским моральным принципам. Трояновский рассуждает:

Вдруг Стась почувствовал на своей ладони чужую руку... он ясно чувствовал, как эта задубевшая от холода шершавая мужская ладонь возвращает ему сознание, возвращает ему самого себя [7, s. 176].

«Рука друга» здесь реальная, осязаемая, но выступает она по-прежнему символом солидарности и источником «трагической надежды».

Страдание в порядке вещей этого мира... Я могу быть собою, страдаю. Могу быть собой, умираю. А это что-то значит, это надежда. Это может быть победой [7, s. 167].

Тоска об этой потерянной надежде смутно мучает Стасю в последние минуты жизни («И лишь один раз, подумав о Ваховяке, твердо говорящим «нет», он почувствовал, как его охватило что-то, похожее на сожаление, которого он уже не успел ни уловить, ни понять» [7, s. 185]).

В повести «Страстная неделя» «спасительное рукопожатие» становится выхолощенным ритуалом, демонстрирует показное расположение при действительном равнодушии к судьбе ближнего (взаимоотношения главных героев Яна Малецкого и Ирены Лильен). Источник «трагической надежды», идея солидарности становится двусмысленной. Как говорит младший брат Яна Малецкого Юлек, солидарность, если она не подкреплена делом, должна быть осуждена: «Не люблю громких фраз!.. Что с того, если я скажу, что зависит все и от нас, и от евреев?.. слова, все слова... а здесь не слова нужны» [7, s. 242]. Анджеевский скептически оценивает потенциал сопротивляемости человека злу, в повести «Страстная неделя» трагическая действительность становится изнанкой гуманизма, исповедуемого лишь на словах, и здесь Анджеевский приближается к тотальному пессимизму Боровского.

Костяк цикла рассказов Боровского «Прощание с Марией» составили пять рассказов, охватывающих три жизненных периода — долагерный («Прощание с Марией»), лагерный («Добро пожаловать в газовую камеру», «День в Гармензе», «Смерть повстанца») и постлагерный («Битва под Грюнвальдом»). Позднее по воле автора сборник был дополнен рассказами «Люди шли и шли» и «Мальчик с Библией» (действие второго происходит в нацистской тюрьме) и тремя новеллами о послевоенной действительности («Родина», «Январское наступление» и «Концерт в Герценбурге»).

Наиболее «популярный» в рассказах Боровского вариант надежды есть ее «низший» тип, надежда на выживание. Именно такая надежда «велит не рисковать, не пытаться бунтовать, погружает в оцепенение... рвет узы семьи, велит матерям отречься от детей, женам — продавать себя за хлеб и мужьям — убивать людей. Именно надежда велит им бороться за каждый день жизни, потому что, может быть, как раз этот



день принесет освобождение...» [3]. Такая «надежда» — одна из причин того, что человек позволяет своим палачам превратить себя в животное или даже овестить, сделать винтиком лагерного механизма.

Никогда еще в истории человечества, — пишет Боровский, — надежда не была так сильна в человеке, но никогда она не причиняла и столько зла, как в этой войне, как в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и потому мы гибнем от газа [3].

Однако, насколько бы пагубной ни была подобная надежда в отличие от «Альфа»-морализатора Анджеевского, Боровский не видит в ней ничего возвышенного — это просто желание выжить, так как «живые всегда правы перед мертвыми». Верный своему стремлению показать лишенную морального обоснования скрытую правду (противоположности Я и Другие у него сливаются в некое единое Мы, с едиными судьбой, поведением, общими законами существования), Боровский отрицает возможность человеческой солидарности в антигуманных обстоятельствах. Его «человек надеющийся» одинок и эгоистичен, озабочен, прежде всего, проблемой собственного выживания. Он не только не способен на проявление солидарности, которая может навредить ему самому, но и чужое горе часто воспринимает как необходимое условие собственного «счастья»:

— А может, уже не будет эшелонов? — бросил я насмешливо. — ...не болтал бы глупостей, не может не хватить людей, иначе бы мы тут все пердохли. Мы все живем тем, что они привозят [3].

Но в этом стремлении придерживаться «правды для большинства» все же нашел выражение особый вариант надежды Боровского. Это надежда не на выживание и даже не на сохранение человеческого достоинства, а на то, что «об этом лагере, об этом времени обманов» можно будет «дать отчет живым и встать на защиту погибших» [3]. Эта надежда совсем лишена оптимистического звучания, так как она не допускает целительного забвения, возвращения в нормальный ритм жизни, в отличие от надежд героя «Страстной недели», который уповает именно на забвение. Герой Боровского лишен этих иллюзий. Надежда Боровского (она же стремление рассказать правду о лагере) нередко скрывается под маской цинизма:

Но прежде я, знаешь, охотно прирезал бы кое-кого, просто для разрядки, чтобы избавиться от лагерного комплекса... комплекса страха перед лагерем. Боюсь, однако, что этот комплекс никогда нас не оставит [3].

Взгляды рассказчика — «форарбайтера Тадека» нередко ошибочно считали выражением подлинного авторского Я.

Таким образом, Боровский и Анджеевский пришли к крайне неутешительному выводу о невозможности человеческой надежды в нечеловеческих условиях. Приобретаемые ею формы либо откровенно эгоистичны (надежда на выживание героев Боровского), либо трусливы



и лицемерны (надежда на забвение в «Страстной неделе» Анджеевского). Будущее также не несет в себе надежды, поскольку воплотившееся в трагедии Освенцима зло остается неотъемлемой частью исторического бытия, скрыто присутствует в каждом человеке, и необходим лишь внешний импульс, чтобы оно вышло наружу. Однако обоим писателям свойственно сознание надежды в безнадежности, надежды в отчаянии, теоретическое обоснование которому, на наш взгляд, следует искать в психологическом парадоксе Фромма. Эта надежда опирается на то, что даже в беспрецедентно жестких условиях появляется хотя бы минимальный шанс отвоювать право на свободу, обуздать собственные инстинкты, как например, Юлек в «Страстной неделе» или женские персонажи рассказа «Добро пожаловать в газовую камеру» Боровского. Наконец, парадокс «высокой», героической надежды отрицает надежду на забвение, поскольку именно право и долг беспристрастно свидетельствовать о лагере придают авторам жизненную и творческую силу.

Список литературы

1. Бердяев Н. А. Новое средневековье // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. М., 1994. Т. 1.
2. Британишский В. Я. О Милоше и об этой его книге // Библиотека Якова Кротова: [сайт]. URL: http://www.krotov.info/lib_sec/13_m/il/osh_3.htm (дата обращения: 27.02.2013).
3. Боровский Т. Прощание с Марией ; рассказы. М., 1989.
4. Мальцев Л. А. Цикл «Ночь» Е. Анджеевского: экзистенциальный аспект // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №22. С. 72–75.
5. Милош Ч. Порабощенный разум // Библиотека Якова Кротова : [сайт]. URL: http://www.krotov.info/lib_sec/13_m/il/osh_5.htm (дата обращения: 27.02.2013).
6. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993.
7. Andrzejewski J. Noc i inne opowiadania. Warszawa, 2001.
8. Andrzejewski J. O nadziei // Przegląd Kulturalny. 1957. №51 – 52. S. 6 – 7.
9. Marcel G. Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. Warszawa, 1984.

Об авторах

Леонид Алексеевич Мальцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.
E-mail: lamaltsev23@mail.ru

Вера Геннадьевна Андрейчук — асп., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.
E-mail: vera_andreychuk@mail.ru

About the authors

Prof. Leonid Maltsev, I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.
E-mail: lamaltsev23@mail.ru

Vera Andreichuk, PhD student, I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.
E-mail: vera_andreychuk@mail.ru